С ВЫСОТЫ НАСЕСТА...

Воспоминаний уже напечатано много, но в них прошлое больно нарядно. Моё детство ненарядное.

Виктор Шкловский «Жили-были»

Честно говоря, никогда не любила читать воспоминаний о чьём-либо детстве; они всегда казались мне если не враньём, то уж напомаженным муляжом. Редко когда панорамный портрет чьей-то родни, запечатлённый недрогнувшей рукой автора спустя лет этак 50, не источает елея и ладана. Вот разве Виктор Шкловский в книге «Жили-были», описывая обиход родительского дома, упоминает, что в разгар скандалов кто-то из его многочисленных братьев непременно «выносил плечом дверь».

Меня тошнит от засахаренного мармелада большинства воспоминаний: мама в них — всег-

да нежна, отец — заботлив, умён и мужествен, бабушка с дедушкой — образцы мудрости и доброты...

Моя личная родня была неистова и разнообразна. Чертовски разнообразна касательно заскоков, фобий, нарушений морали, оголтелых претензий друг к другу. Не то чтобы гроздь скорпионов в банке, но уж и не слёзыньки Господни, ох нет. С каждым из моей родни, говорила моя бабка, «беседовать можно, только наевшись гороху!».

Своё раннее детство в окружении родственных персонажей я помню сквозь непременную дымку цветения каких-то кустов или фруктовых деревьев или сквозь плотную, как парча, вязь виноградных усиков. Вижу их всех как на дагерротипе: я взирала на клёкот и грохот семьи с высоты своего горшка. Он был синий, эмалированный, с голубой незабудкой на боку, установленный для меня посреди беседки, увитой виноградом сорта «дамские пальчики». Сидеть на нём было уютно, сидела я подолгу, меланхолично впитывая громогласную перебранку всех со всеми, лай невменяемой собаки Найды, боевые вопли соседских кошаков, грозные окрики бабки... А надо всем этим балаганом — томный гул фиолетовых горлинок — тончайшую аранжировку детства.

Дом дядькин был саманным скороcтроем: вернувшись с войны, дядя Яков сложил его собственными руками из кизячных кирпичей. Немудрёный такой домишко: две комнаты, соединённые одна с другой длинной застеклённой кишкой веранды, на которой стояли газовая плита, стол и крашенные синей краской табуреты. Синий цвет Востока, сакральный цвет, отгоняющий злых духов, не имел к нашим табуретам ни малейшего отношения. Просто соседу Косте удалось украсть со стройки именно эту банку.

В одной комнате дома жил сам дядя с семьёй, в другой жили бабка Рахиль и дед Сендер. Смешной домик... Но двор был большой, приёмистый, много-сарайный, пару-собачный, бродяче-кошачий, гурляще-голубиный, подсолнухово-ромашковый, бабочко-пролётный, пчелино-стрекозиный... — прекрасный ташкентский двор.

Я восседала в центре двора на горшке, наблюдая жизнь. В детстве горшок абсолютно равен трону. К вечеру за мной по пути из художественного училища заезжал отец. Я встречала его на троне. Так государыня принимает заморских послов с верительными грамотами.

— Этот ребёнок когда-нибудь поднимается с горшка? — спрашивал отец недовольно.

— Ребёнку должно быть интересно! — отвечала ему бабка. И она, в сущности, была права:

вокруг меня бурлила жизнь, я наблюдала её пульсирующий ход, мне было интересно.

Детство не подлежит уценке...

Видимо, за каждым из нас, как в картах Таро, закреплён некий образ, психологическая матрица. Я вечно сижу на каком-нибудь насесте; сижу и смотрю, как мимо меня катится мир; медленно впитываю этот мир, для того чтобы впоследствии его извергнуть, описав по-своему, как можно честнее, смешнее и трагичнее...

С горшка я давно пересела на табурет, где, позируя отцу, часами сидела, уставясь туда, куда указывала его кисть. Потом пересела на обитый кожей музыкальный стул, сохранивший следы моего седалища за много лет фортепианной зубрёжки. И, наконец, меня приняло моё бывалое писательское кресло, в котором написано страшно произнести сколько сотен и даже тысяч страниц. При этом я то и дело снова посиживаю на разных табуретах, стульях и креслах, позируя уже не отцу, а мужу, художнику Борису Карафёлову; он ведь тоже — родня, и «беседовать с ним можно, только наевшись гороху».

Детство не подлежит уценке. Ребёнку должно быть интересно. А мы всегда — дети, мы попрежнему дети, и сердца наши — как поёт второстепенная героиня в повести о молодом художнике, которую вы сейчас откроете, перелистнув страницу, — «наши сердца не имеют морщин».

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ...

Маленькая повесть

Борису Карафёлову

1

В армию его призвали с третьего курса художественного училища. Тогда это казалось нормальным: ну, время подкатило, что поделать.

— Вернёшься, дорисуешь, — буднично бросил майор на призывном пункте, — вот Родине долг отдашь. Подождут твои краски-кисточки...

Всё же он прихватил с собой этюдник. Служба армейская представлялась Борису тягостной, морочной, но человеческой работой: должен же и *там* когда-то свободный вечерок выпасть, выходной... или как у них *там* это значится: *увольнительная*?

Симферополь уже закипал душноватым весенним дымком: по дворам цвели белым цветом вишня и алыча, в парке Тараса Шевчен-

ко нежно и молодо зеленели дубы, платаны и ясени, по берегам озёр, Нижнего и Верхнего, вдоль реки Славянки мягко стелились космы вавилонской ивы, а на склонах, покрытых молочаем, щедрыми солнечными каскадами соцветий сиял бобовник, ядовитый, но невозможно красивый кустарник, прозванный в народе «золотым дождём».

Время было самое рабочее, самое нетерпеливое: студенты училища имени Н. С. Самокиша группами выезжали на пленэры.

* * *

Огромный двор военкомата гудел призывниками. Все ещё в гражданском, с рюкзаками, будто в поход собрались. Борис тоже был с рюкзаком, довольно тощим: кроме зубной щётки и пары чистого белья, там лежали блокнот для рисования, карандаши, две книжки и бутылка очищенного скипидара под названием «Пинен». Зато этюдник он загрузил под завязку: кисти, мастихин, краски в тюбиках. На всё это богатство потратил последнюю стипендию.

В общей неразберихе было шумно, и, несмотря на задиристые оклики и бодрые шуточки новобранцев и провожающих, несмотря на две гармони, залихватски разваливающие меха по разным углам двора, парни выглядели

неприкаянными, озирались и глазами искали предполагаемое начальство.

Между призывниками сновали офицеры, приехавшие из разных воинских частей сопровождать ребят до пункта назначения. Одного из них — сутулого, носатого, длиннорукого — Борис приметил и мысленно прозвал Гоголем: тот и вправду чем-то напоминал если не самого писателя, то некий гоголевский персонаж. У него и фамилия была какая-то персонажная, а в сочетании со званием вообще смешная: старшина Солдатенков. Но был он симпатичен своей участливой физиономией и суетливым мягким выговором. Подходил к призывникам, первым представлялся, заговаривал, интересовался «интересами». Подошёл и к Борису, спросил:

— Эт что у тебя за чемоданчик?

— Это этюдник, — объяснил тот. — Я художник.

— Не-е, — с сожалением отмахнулся Солдатенков. — Мне бы спортсменов. Я там у нас спорт курирую.

Вот к этому дятлу носатому Борис решил держаться поближе: он не любил сутолоки и бестолковщины, любая неопределённость его раздражала, а с утра и до сей минуты вся его жизнь вообще представлялась полным хаосом.

14 Наконец всю разношёрстную, оживлённо гудящую толпу новобранцев построили в колонну и повели на вокзал...

...Странно было идти с этюдником через плечо знакомыми улицами, оставив за спиной привычный поворот на Тамбовскую, зная, что ближайшие три года не увидишь ни этих улиц, ни этого поворота; не пройдёшь мимо сутулой пицундской сосны на углу, не поднимешься по оббитым ступеням в портик с белыми колоннами, не войдёшь в знакомый вестибюль училища имени Н. С. Самокиша...

На вокзале уже стоял под парами их состав специального назначения: длинная цепь общих вагонов, хвоста не видать. Когда проводники с лязгом открыли двери, парни ломанулись внутрь, захватывая полки, кто пошустрее — нижние: всё же столик — немалое удобство в долгой дороге. А плестись, они уже понимали, предстояло много дней, пропуская все пассажирские и грузовые составы, по пути подбирая новобранцев из разных прочих мест необъятной, ох и необъятной же родины. Конечный пункт их дороги был Благовещенск. Странно произнести, а уж представить...

Борис протискивался по вагону меж спинами, плечами, бокастыми рюкзаками: всюду забито. Заглянул в последний отсек у туалета,

где и нижние, и верхние полки были заняты; а тащиться дальше по вагонам смысла не было. Он вошёл, закинул рюкзак и этюдник на третью, багажную, полку и одним махом взлетел наверх. У него было лёгкое ловкое тело и не забытое с отрочества, ещё со школьных занятий акробатикой, мышечное удовольствие от прыжков на снарядах. Нащупав в рюкзаке, вытянул книгу — «Праздник, который всегда с тобой» — и улёгся на верхотуре, чуть не лбом в потолок, неторопливо пролистывая страницы, трепетавшие на ветерке из окна, как крылья бабочки.

Вообще-то он дважды уже прочёл эту книгу, но время от времени снова её раскрывал, прихватывая там и тут по десятку страниц для особого *парижского настроения*. Рассуждения Хемингуэя о литературе его занимали мало, но с жадным волнением он представлял улицы, кафе и набережные Сены начала века, по которым ходили великие художники — Пикассо, Матисс, Дерен... Они ведь могли оказаться за стойкой какого-то бистро, неподалёку от ещё не знаменитого писателя, перекинуться с ним парой слов, угостить выпивкой.

«...Париж никогда не кончается, — читал Борис, лёжа на третьей полке в поезде, который мчал его в такую даль, что сердце отказывалось

верить и чувствовать, — *и воспоминания каждого человека, который жил в нём, отличаются от воспоминаний любого другого. Мы всегда возвращаемся туда, кем бы мы ни были, как бы он ни изменился, независимо от того, насколько трудно или легко было до него добраться. Он всегда того стоит и всегда воздавал нам за то, что мы ему приносили...»*

* * *

Книгу привёз из Москвы друг и однокашник Бориса Володя Пирогов. Счастливчик Володька обладал ценной штукой: пороком сердца, то есть от призыва был освобождён, и к тому времени, как Борис вернётся из солдатской кручины, должен был училище закончить. Они дружили с первого курса, с тех пор, как на вступительных экзаменах случайно обнаружили, что родились в один и тот же день, *в одной временной точке существования этого мира* (Володя любил завернуть что-нибудь такое). Сначала целый год снимали на двоих комнату у татарки Фатимы. Комната, вообще-то, была сарайчиком за кухней, «вместительная кровать» из объявления, наклеенного на одной из колонн училища, — деревянным топчаном с блохастым матрасом. Но мальчики не роптали: называли свою нору «апартамента-

ми» и, благо особой упитанностью не отличались оба, отлично умещались валетом на своём комковатом ложе.

Здание училища угнездилось в самом сердце района, тесно застроенного татарскими домами. То есть они были татарскими раньше, давно; после войны их заселили другие советские граждане, понатыкавшие в глиняные и каменные заборы осколки битого стекла — от ворья. Но семью Фатимы, в отличие от других крымских татар, после войны не выслали, муж её воевал в партизанах и потому предателем родины не считался.

Семиметровая холодная пристройка за кухней у Фатимы обходилась недорого, каждому по трёшке, но и стипендия на первом курсе не ахти была: червонец. Ни он, ни Володя на помощь из дому не надеялись и потому справлялись сами: каждого первого числа закупали, нарезáли и сушили в печке несколько буханок серого хлеба, покупали две пачки рафинада в кубиках. Это была основная, *базисная*, говорил Володя, еда: углеводы и глюкоза для мозга. Накачивались сладким чаем, заедали вкуснейшими, чуть присоленными сухарями... Совсем недурно! Иногда и Фатима подбрасывала огурчик или помидорину, а они взамен помогали ей в огороде.

На втором курсе повезло: дали им по койке в общежитии, в комнате на семерых, и стипендию повысили до двенадцати рублей. А на третьем курсе стипендия поднялась аж до четырнадцати рубликов. Это ж, говорил Володька, мы теперь кто: кум королю и сват министру!

Словом, стали они совсем самостоятельные парни.

Кроме того, оказавшись гороскопическими близнецами, они и день рождения справляли вместе: ежегодно в конце апреля приезжали к Володе домой.

Тот был родом из посёлка Отрадное, что под Ялтой, между Массандрой и Никитой; ехать недалеко, часа два с довеском: садились у общежития на троллейбус номер 3 и мимо парка Шевченко, мимо рынка, по центральной улице доезжали до автовокзала. Там пересаживались на другой троллейбус, междугородний, и это уже начиналось настоящее путешествие мимо склонов, желтеющих молочаем, заросших мушмулой, миндалём и боярышником.

Путь Симферополь — Ялта был весёлый, солнечный, кипарисовый, холмистый; с кобальтово-синим апрельским небом, прочерченным троллейбусными проводами; с деревянными ларьками на остановках, где можно

было выскочить и купить чебурек или просто кулёк семечек у старухи... Этот путь был прообразом всех путешествий его жизни, и в дальнейшем ни в Тоскане, ни в Шварцвальде, ни по дороге в красных скалах Мёртвого моря Борис не испытывал такого предвкушения счастья и огромной жизни, как в недолгом пути в Отрадное, с Володей на соседнем сиденье.

* * *

Володина мама, Ксения Анатольевна, жила в одноэтажном доме частной застройки: две комнаты и кухня, а ещё открытая деревянная веранда, на которой к приезду мальчиков накрывался праздничный стол.

Домик был скромный, зато двор — неожиданно, несоразмерно дому — огромный, как в имении, засаженный по периметру кипарисами, самшитовыми кустами, яблонями и вишнями; тенистый, но с перепадами весь день гуляющих по нему солнечных полянок, озарявших то клумбу с пионами и календулами, то уголок с густыми красными зарослями кизила...

А посреди двора жил отдельной жизнью пруд, выкопанный и обустроенный ещё покойным Володиным отцом. Когда-то в него были выпущены две морские черепахи и не-

сколько золотых рыбок, которые давно уже выросли в матёрых пятнистых красно-белых патриархов и вели бесконтрольную жизнь естественного отбора, сражаясь с черепахами за крошки хлеба.

Ксения Анатольевна работала в Крымском институте виноделия и виноградарства «Магарач» и каждый год к приезду мальчиков припасала бутылку мадеры их года рождения: 1950-го.

А в последний их совместный приезд приготовила особенный сюрприз.

Борис к тому времени уже побывал в военкомате, уже услышал от майора совет про краски-кисточки. Понимал, что катится, катится к чертям его жизнь, учёба, живопись, а заодно едва вспыхнувший нежный интерес к девушке Асе, с которой месяца полтора назад он познакомился в третьем троллейбусе и с тех пор всегда старался подгадать к семи тридцати, когда она садилась на пять остановок до своей библиотеки.

Все эти пять остановок они оживлённо болтали, а в последний раз он рискнул и попросил её «посидеть» для портрета. И по тому, как славно она вспыхнула, будто просил он о чём-то запретном, тайном, по тому, как еле слышно выдохнула: «ну... хорошо», он понял,